

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

ЦИТАДЕЛЬ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44
С31

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с французского *М. Кожевниковой*

Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*

Дизайн обложки *В. Воронина*

С31 **Сент-Экзюпери, Антуан де.**
Цитадель : [роман] / Антуан де Сент-Экзюпери ;
[перевод с французского М. Кожевниковой]. —
Москва : Издательство АСТ, 2026. — 544 с. — (Экс-
ксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-183716-7

«Цитадель» — самое необычное произведение Экзюпери, ставшее вершиной его художественной философии. «Цитадель» «возводилась» писателем в течение многих лет, но так и не была завершена.

Эта книга о человеке и его душе... Она глубока настолько, что каждый непременно найдет на ее страницах что-то близкое своей судьбе и жизни. Это действительно книга на все времена!

В настоящем издании публикуется полный текст «Цитадели», соответствующий изданию 1949 года, в переводе М. Кожевниковой.

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-183716-7

© Перевод. М. Кожевникова, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2026

...Хочу закончить свою книгу. Вот и все. Я меняю себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь. В вечности меня спросят: «Как ты обошелся со своими дарованиями, что сделал для людей?» Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое. Кто поможет мне в этом, тот мой друг... Мне ничего не нужно. Ни денег, ни удовольствий, ни общества друзей. Мне жизненно необходим покой. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой. Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что мне никогда не довести ее до конца. У меня семьсот страниц. Если бы я просто разрабатывал эти семь сотен страниц горной породы, как для простой статьи, мне и то понадобилось бы десять лет, чтобы довести дело до завершения. Буду работать не мудря, покуда хватит сил. Ничем другим на свете я заниматься не стану. Сам по себе я не имею больше никакого значения и не представляю себе, в какие еще раздоры меня можно втянуть. Я чувствую, что мне угрожают, что я уязвим, что время мое ограничено; я хочу завершить свое дерево. Гийоме погиб, я хочу поскорей завершить свое дерево. Хочу поскорей стать чем-то иным, не тем, что я сейчас. Я потерял интерес к самому себе. Мои зубы, печень и прочее — все это трухляво и само по себе не представляет никакой ценности. К тому времени, когда придет пора умирать, я хочу превратиться в нечто иное. Быть может, все это банально. Меня не уязвляет, что кому-нибудь это покажется банальным. Быть может, я оболщаюсь насчет своей книги; быть может,

это будет всего лишь толстенный посредственный том, мне совершенно все равно — ведь это лучшее из того, чем я могу стать. Я должен найти это лучшее. Лучшее, чем умереть на войне. ...Будь смерть лучшим, на что я теперь способен, — я готов умереть. Но я ощущаю в себе призвание к тому, что кажется мне еще лучше... Теперь я на всех смотрю с точки зрения своего труда и людей делю на тех, кто за меня и против меня. Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме я понял, что рано или поздно умру. Речь идет уже не об абстрактной поэтической смерти, которую мы считаем сентиментальным приключением и призываем в несчастьях. Ничего подобного. Я имею в виду не ту смерть, которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, «уставший от жизни». Нет, я говорю о смерти мужчины. О смерти всерьез. О жизни, которая прожита...

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Из письма г-же Н.
Перевод Е. В. Баевской.

I

...Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили над людьми, мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, мы должны смотреть в глубь человеческого сердца. Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, которые трогают сердобольных женщин, отказываю умирающим и мертвым. И знаю почему.

В юности, когда я увидел гнойные язвы нищих, я пожалел их. Я нанял для них врачей и целителей, стал покупать примочки и мази. Караваны везли мне из дальних стран золотой бальзам для заживления язв.

Но нищие расковыривали свои болячки, они смачивали их навозной жижей, — так садовник унавоживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок, — и тогда я понял: смрад и зловоние — сокровище попрошаек. Они хвалились друг перед другом своими язвами, бахвалились дневным подаянием, и тот, кто получал больше монет, чем другие, возвышался в собственных глазах, чувствуя себя верховным жрецом при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия приходили нищие к моему целителю, заранее предвкушая, как изумится он обилию их зловонных язв. Защищая место под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки — поклонением. Но, исцелившись, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь, — бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы.

И, вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они с плашками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога.

Во времена моей юности я сочувствовал умирающим. Мне казалось, обреченный мной на гибель в пустыне умирает, изнемогая от безнадежного одиночества. Я еще не знал, что в смертный час не до одиночества. Не знал о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себялюбец или скупец, прежде громко бранившийся из-за каждого потраченного гроша, собирает в последний свой час домочадцев и оделяет их с безразличием справедливости, как детей побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который прежде при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчал, заботясь уже не о себе — о товарищах. Как восхищает всех подобная самоотверженность. Но это не самоотверженность, это пренебрежение или безразличие. И я понял, почему умирающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий от голода отказался от корки хлеба. Они уже отстранились от телесных нужд и с царственным безразличием отодвинули кость, в которую жадно вгрызутся живые.

Я видел женщин, они плакали о погибших. Плакали, потому что мы слишком много ввали. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасной изображают смерть. Еще бы! Они тоже могли погибнуть. Но вернулись и гибелью товарищей утрашают теперь всех вокруг. В юности и я любил окружать себя ореолом сабельных ударов, от которых погибли мои друзья. Я приходил с войны, потрясая безысходным отчаянием тех, кого разлучили с жизнью. Но правду о себе смерть открывает только своим избранныкам; рот их полон крови, они зажимают распоротый живот и знают: умереть не страшно. Собственное тело для них — инструмент, он пришел в негодность, сломался, стал бесполезным,

и, значит, настало время его отбросить. Испорченный, ни на что не годный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит: тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствия не нужны тому, для кого и тело — незначущая часть обширного имения, вроде осла на привязи во дворе. Потом наступает агония: прилив, отлив — волны памяти бередают сознание, омывают пережитым, вздымаются, опадают, приносят и уносят камешки воспоминаний, звучащие раковины голосов, дотянулись, раскачали сердце, и, словно нити водорослей, ожили сердечные привязанности. Но равенство уже приготовило последний отлив, пустеет сердце, и волна пережитого отходит к Господу.

Все, кто живы, — я знаю, — боятся смерти. Они заранее напуганы предстоящей встречей. Но поверьте, я ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий. Так за что же жалеть их? О чем плакать у их изголовья?

Я знаю, сколько преимуществ у мертвых.

Я видел, как рада была умереть молодая пленница. Мне было шестнадцать, я многое понял, глядя, как она умирала. Когда ее принесли, она уже отходила, кашляла в платок и, как загнанная газель, прерывисто, часто дышала. Но не смерть занимала ее, она силилась улыбнуться. Улыбка реяла возле ее губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежная лебедь. День ото дня улыбка становилась все явственней, все драгоценней, и все труднее становилось удерживать ее, пока однажды лебедь не улетела в небо, оставив след — ровную полоску губ.

А мой отец? Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Убийца поседел. Его раздавило величие, которым исполнилась земная брэнная оболочка, прободенная его кинжалом. Не жертва — царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, которому сам убийца стал причиной, поймало его в ловушку, обессилило и сковало. На заре

в царской опочивальне слуги нашли преступника, он стоял на коленях перед мертвым царем.

Цареубийца переместил моего отца в вечность, оборвал дыхание, и на целых три дня дыхание затаили и мы. Даже после того, как гроб был опущен в землю, плечи у нас не расправились, и нам не захотелось говорить. Царя не было с нами, он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нем, и, опуская его на скрипучих веревках в землю, знали, что заботливо укрываем нажитое, а не хороним покойника. Тяжесть его была тяжестью краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землей опору, которой он был и остался для нас. От отца я узнал, что такое смерть. Он заставил меня посмотреть ей в лицо, когда я был еще ребенком. Он и сам ни перед чем не опускал глаз. Кровь орла текла в его жилах.

Случилось это в проклятый год, который назвали потом годом «солнечных пиршеств». Пируя, солнце растило пустыню. На слепящем глаза раскаленном песке седела верблюжья трава, чернела колючка, белели скелеты, шуршали прозрачные шкурки ящериц. Солнце, к которому прежде тянулись слабые стебли цветов, губило свои творенья и, как ребенок сломанными игрушками, любовалось раскиданными повсюду останками.

Дотянулось оно и до подземных вод, выпило редкие колодцы, высосало желтизну песков, и за мертвенный серебряный блеск мы прозвали эти пески «зеркалом». Ибо и зеркала бесплодны, а мелькающие в них отражения бестелесны и мимолетны. Ибо и зеркала иногда больно слепят глаза, будто солончаки.

Сбившись с тропы, караваны попадали в зеркальную ловушку. Ловушку, которая никогда не выпускает добычи. Но откуда им было знать об этом? Вокруг ничего не менялось. Вот только жизнь становилась призрачной. Становилась тенью, отброшенной беспощадным солнцем. Караван тонул в белом мертвенном блеске, но верил, что движется вперед; пере-

селялся в вечность, но считал, что живет. Погонщики торопили верблюдов, но разве можно превозмочь бесконечность? Они спешили к колодцу, которого не было, и радовались вечерней прохладе. Они не знали, что прохлада — отсрочка, которая им ничем не поможет. А они, простодушные дети, верно, жаловались, что ночь никак не наступит... Нет, ночи реяли над ними, как быстрые взмахи ресниц, пока они гортанно негодовали на мелкие трогательные несправедливости, не ведая, что последняя справедливость уже воздана им.

Тебе кажется, караван идет? Вернись посмотреть на него через двадцать столетий!..

Отец посадил меня к себе в седло. Он хотел показать мне, что такое смерть. И я увидел, что осталось от тех, кого выпило зеркало: время рассеяло призраки, от них остался песок.

— Здесь, — сказал мне отец, — был когда-то колодец.

Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела в колодце, и звезда погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада. К узкому жерлу, как к пуповине, тесно прильнули верблюды и люди, тщетно надеясь на животворную влагу земного чрева. Нашлись смельчаки и добрались до дна колодезной бездны, но что толку царапать заскорузлую корку? Бабочка на булавке блекнет, осыпав шелковистое золото пыльцы, выцвел и караван, пригвожденный к земле пустотою колодца: истлела упряжь, развалилась кладь, алмазы рассыпались речной галькой, булыжниками — золотые слитки, и все это припорошил песок.

* * *

Я смотрел, отец говорил:

— Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые и гости. Что, кроме беспорядка, открыл нам

бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зола в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но, глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви? Неграмотный, — продолжал он, — подержав в руках и перелистав священную книгу пророка, посмотрев на искусную вязь букв, миновал суть. Суть книги не в тщете зримого — в Господней мудрости. И не воск, который плавится и оставляет потеки, главное в свече, — сияние света.

Но мне стало страшно, я испугался пиршественного стола Бога с остатками жертвенной трапезы. И отец сказал:

— О главном не говорят при помощи праха. Не медли над мертвецами. Повозки навек увязли в грязи, потому что их оставил вожатый.

— Скажи, где искать мне главное?! — закричал я отцу.

И отец ответил:

— Ты поймешь суть каравана, увидев его в пути. Забудь тщету слов и смотри: на пути каравана пропасть, он обходит ее; скала — он огибает ее; если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда идет туда, куда идет. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суеются, вызволяют их, отыскивают почву понадежней, и снова караван идет туда, куда шел. Пал верблюд, караван остановился, погонщик связал узлом лопнувшую веревку, перевязал кладь, нагрузил другого верблюда, и опять караван идет, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него. Выкапывают в песке могилу. Спорят. И выбрав на его место другого, вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван, направление — вот для него опорный камень на невидимом склоне.

* * *

Городские судьи вынесли приговор молодой преступнице: накажет ее солнце, бичуя нежную оболочку плоти, и преступницу привязали к столбу в пустыне.

— Сейчас ты поймешь, что для человека главное, — сказал мне отец.

И вот я опять у него в седле.

Мы ехали, а солнце, совершая дневной путь, казнило виновную, иссушая кровь, слюну, пот молодого тела. Выпило оно и влажное сияние глаз. Опускалась ночь с мимолетным своим милосердием, когда мы с отцом подъехали к порогу запретной равнины. Там, на темной скале, белела нагота юного тела, словно гибкий стебель в разлуке с питающей влагой вод, так весомо молчащих в земных глубинах. Переплетя руки, точь-в-точь лоза, уже потрескивающая в пламени, — виновная зывала к милосердию Господа.

— Послушай ее, она говорит о главном, — сказал отец.

Но я был мал и потому малодушен.

— Как она страдает! — сказал я. — Как ей, наверное, страшно...

— Страдает и страшится стадо, укрытое в хлеве, — ответил отец. — Она превозмогла эти две болезни и теперь постигает истину.

Я вслушался в ее плач.

Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг нее, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой Вселенной. Во власти любого прохожего, здесь, на пустынной равнине, славил знакомые, успокоительные шаги мужа, он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает небытие: шерстяную кудель, чтобы пряхь ее, грязную миску, чтобы вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать, ее собственного ребенка, а не чужого. Она зывала к спасительной надежности дома. Она молилась, и ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни.

Голова осужденной поникла, и отец вновь посадил меня к себе в седло. Мы помчались.

— Вечером в шатрах ты услышишь ропот и возмущение моей жестокостью, — сказал он мне. — Но я вобью им обратно в глотки их жалкое возмущение: я кую человека.

Я знал, что отец мой добр.

И вот что он говорил:

— Я хочу, чтобы они любили говорливые родники, ровную зелень ячменя, укrywшую растрескавшееся от зноя поле. Хочу, чтобы славил сменяющиеся времена года. И созревали сами, подобно плодам, благодаря тишине и неторопливости. Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает наследие одного поколения к другому, и я не хочу, чтобы мед расточился в пути. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева — щедрой оливы. Ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий древо на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам.

— Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твердая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, — вот что такое дерево. Таков и ты, дитя мое, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает в Свое лоно. Но ты не вот этот школьник, и не этот супруг, не вот это дитя, и не этот старец. Осуществление — вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, не

12 отторжимой от оливы, то и у перемен окажется

вкус вечности. Все вокруг тебя обретет незыблемость. Вечен говорливый родник, утолявший жажду праотцев, вечны сияние глаз улыбнувшейся тебе возлюбленной и ночная свежесть. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим все прахом, — жнецом, увязывающим тугой сноп.

II

Смотрю с самой высокой башни крепости и вижу: не нуждаются в жалости страждущие, упокоившиеся в лоне Господа и носящие по ним траур. Усопший, о котором помнят, живет и могущественней живущего. Вижу смятенье живущих и сострадаю им.

Их я хочу исцелить от тоски и безнадёжности.

Сострадаю тому, кто открыл глаза в праотческой тьме, поверил, что кровом ему Божьи звезды, и вдруг догадался, что он в пути.

Но кладу запрет на горестные вопрошанья, ибо знаю: нет ответа, который насытил бы и утешил. Вопрошающий отверзает бездну.

Глубины сердца ведомы мне, и знаю: избавив вора от нищеты, я не избавлю его от желания воровать, и осуждаю душевную смуту, что толкает вора на преступление. Он заблуждается, думая, что манит его чужое золото. Золото светится, как звезда. Любовь, пусть даже не ведающая, что она — любовь, всегда тянется к свету, но не в силах человеческих присвоить себе свет. Сияние завораживает вора, и он совершает кражу за кражей, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает черную воду пруда, надеясь схватить луну. Вор крадет и в мимолетное пламя оргий швыряет прах уворованного. И снова стоит в темноте за углом, бледный, словно перед свиданием, неподвижный из страха спугнуть, надеясь, что именно так он отыщет однажды то, что утолит его жажду.

Отпусти я его на свободу, он снова будет служить своему божеству, и завтра же мои стражники, если я пошлю их подстригать деревья, схватят его в чужом саду: с колотящимся сердцем он ждал улыбки фортуны.

Но его первого я укрою своей любовью, потому что рвения в нем больше, чем у благоразумного, который завел себе лавку и торгует в ней. Я строю город. Мою крепость я решил заложить здесь. Я хочу остановить идущий караван. Он был семечком в русле ветра. Ветер расточает семена кедра, как аромат. Но я встаю на пути ветра. Я укрываю семя землей, чтобы во славу Божию поднялись и оделись смолистой хвоей кедры.

Любви необходимо понять, что же она любит. Я спасу того, кто полюбил сущее, — его возможно насытить.

Вот почему я затворяю женщину в доме мужа и велю бросить камень в неверную. Мне ли не знать той жажды, что томит женское сердце? Словно в открытой книге, читаю я в сердце той, что в вечерний час, сулящий чудеса, оперлась на перила: своды небесного моря сомкнулись над ней, и собственная нежность — палач для нее.

Как ощутим для меня ее трепет; рыбка трепещет на песке и зовет волну: голубой плащ всадника. В ночь бросает она свой зов. Кто-то появится и ответит. Но тщетно она будет перебирать плащи, мужчине не насытить ее. Берег, ища обновления, призывает морской прилив, и волны бегут одна за другой. И одна за другой исчезают. Так зачем потворствовать смене мужей: кто любит лишь утро любви, никогда не узнает встречи.

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем двореке своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что служит цветку, который и есть весна. Не ту, что любит влюбляться, — ту, которая полюбила.

Я перечеркиваю тающую в вечернем сумраке и начинаю творить ее заново. Вместо ограды ставлю с ней рядом чайник, жаровню, блестящий под-

нос из меди, чтобы мало-помалу безликие вещи стали близкими, стали домом и радостью, в которой нет ничего нездешнего. Дом откроет для нее Бога. Заплачет ребенок, прося грудь, шерсть попросится в руки, и угли очага потребуют: раздуй нас. Ее приручили, она готова служить. Ведь я сберегаю аромат для вечности. вокруг него я леплю сосуд. Я — каждодневность, благодаря которой округляется плод. И если я принуждаю женщину позабыть о себе, то только ради того, чтобы вернуть потом Господу не рассеянный ветром слабый вздох, но усердие, нежность и муки, принадлежащие ей одной...

...Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенное. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу.

Я понял: человек — та же крепость. Мечтая вырваться на свободу, он ломает стены, но что кроме жалких развалин остается под взглядами звезд? И как же ему тоскливо среди развалин... Так пусть он увидит смысл в сжигании высушенной лозы, в стрижке овец. Смысл добывается день за днем, и колодец, который копают и копают, пробиваясь к воде, становится глубже. Взгляд, перебегающий с одного на другое, теряет из вида Господа. И не та, что жила переменами, откликалась на посулы ночи, — о Боге ведаешь та, что, смирившись, копила себя, сидя за прялкой.

Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце.

* * *

Да, время есть на все — есть время выбирать, что будешь сеять, есть время растить урожай и время радоваться ему. Время для творчества, потом для